

{ Биографии,
автобиографии,
мемуары }

Тамара ПЕТКЕВИЧ

Жизнь —
сапожок непарный

Книга вторая
НА ФОНЕ ЗВЁЗД И СТРАХА



УДК 84-94
ББК 84(2Рос-Рус)6
П29

Серийное оформление АНДРЕЯ РЫБАКОВА

Оформление обложки ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛИКОВА

В книге использованы фотографии из личного архива автора,
а также фотографии, предоставленные Гульсарой Гильмутдиновой
и Татьяной Куцениной.

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-22555-8

© Т. В. Петкевич (наследники), 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство КоЛибри®

Глава первая

То, что в первой книге условно названо «другой жизнью», берёт начало в раннем июльском утре 1952 года.

Улицу и дом в Москве я отыскала сразу. Чуть опамятовалась только перед дверью квартиры: «Я ли это? Что происходит? По какому праву я собираюсь нажать кнопку звонка чужого дома? Что скажу, оказавшись лицом к лицу с матерью человека, отношения с которым отягощены столькими сложностями?»

Дверь открыла мать Бориса. Заметно удивилась. Провела в комнату. А там, как показалось воспалённому сознанию, было полно людей... Гости? Сквозь пресс глухоты услышала голос Александры Фёдоровны:

— Знакомьтесь. Это мой старший сын Костя. Его жена Лида.

И в следующую же секунду — что-то напоминающее удар:

— Костя! Лида! А это... Это Борюнькина невеста.

«Ничья я не невеста! Я свободный человек! Совершенно свободный!» — хотела я выкрикнуть, поправить... Пребывая в ином измерении, я ещё не осознавала действительности, в которой очутилась. Но то, что на меня, «свободную», накинули лассо, ощутила с пронзительной силой. И всё стало обретать черты трезвой и обескураживающей реальности.

Мать Бориса занимала шестнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире. Пианино, письменный и обеденный столы, диван, кушетка, висевшие на стенах книжные полки делали комнату донельзя тесной. «Старшие дети», уволившись из театра в Си-

бири, приехали к матери за несколько дней до моего вторжения в этот дом. Жена старшего сына, Лида, обладала прекрасным меццо. В Москву их привёл объявленный Большим театром конкурс на вакансию солистки оперной труппы.

Осознав, какой головоломной задачей может обернуться для семьи моё появление, я стала заверять Александру Фёдоровну, что разыщу в Москве кого-нибудь из северных знакомых и ночлег — найду. Ни одного подстраховывающего адреса у меня не было. Уйди я ночевать на любой из вокзалов, вписанный в паспорт административный 39-й пункт гарантировал, что первый же рейд милиционеров отправит меня стольпинским вагоном куда дальше Микунь. При этом я уже отчётливо понимала, что единственно правильное действие — встать и уйти. Куда? Об этом надо было думать раньше.

Как надписанный заключённым сыном багаж, я была адресована Александре Фёдоровне. Она меня — не отпустила. И теперь я послушно впитывала каждое произнесённое ею слово:

— При желании площадь умеет увеличиваться. Разместимся все. У соседки пустует кровать. Я там желанная гостья.

Я знала мать Бориса по её северным приездам на свидания к сыну. В облике статной, высокой женщины было непререкаемое величие. Она напоминала статуи греческих богинь. Когда я в Микунь услышала в её исполнении «Песнь про купца Калашникова» Лермонтова, была покорена её талантом чтицы. В письмах из зоны Борис постоянно повторял: «Мы с Ма одинаково думаем... Ради меня Ма сделает всё... Припечёт — она меня и с того света вызовет». Я слушала это, как сагу о единстве матери и сына, и — верила.

Собственные наши с ней отношения не заладились сразу. Знакомя нас, Борис сказал: «Ма! Я люблю Зорьку». Она глянула на меня острым, выверяющим взглядом и отвела в сторону непотеплевшие глаза. «Борина мать прозорлива», — подумала я тогда. Видно, и она запомнила ту минуту, поскольку вскоре сочла нужным пояснить:

— Знаешь, Томочка, я при первой встрече испугалась тебя. Увидела, что мой сын любит тебя, а ты — ты отвлечена чем-то своим.

«Зачем же вы так лихо переименовали меня в „невесту“ сына?» — хотела я её спросить. Это не было попыткой сгладить острый угол моего появления ради старших детей, как подумалось поначалу. Нет. Такова была твёрдость её материнских условий. Я же ни о каком замужестве не помышляла вообще. Два полюса: «Борюнькина невеста» и «При желании площадь умеет увеличиваться» — сделали наши отношения с Александрой Фёдоровной «сложноподчинёнными». С надеждой выправить их скособоченность, я вслушивалась не только в текст, но и в интонацию каждого обращённого ко мне слова, увязая в двусмысленности своего положения. Двусмысленность усугублялась ещё и тем, что она не попросила меня объяснить слова Бориса: «Томке сейчас *худо*», а сама я *плохо* представляла, что *смогла бы* сочинить при строгом наказе Бориса не посвящать её в историю моей вербовки.

По приезду в Москву я сразу написала заявление в Микунь об увольнении и отослала его в письме к наиболее верной сослуживице. Необходимо было вызволить из отдела кадров трудовую книжку и получить положенную мне зарплату, чтобы поскорее куда-то уехать, устроиться на работу, освободить от себя семью Бориса. Пока же Александра Фёдоровна ежедневно давала мне задания: закупить краски, кисти, провизию для Бориса, упаковать всё это, съездить за город отправить письма, посылки (в Москве на лагерные адреса их не принимали). Что-то надо было купить и в дом.

Старший брат Бориса, актёр драматического театра, великолепно разбирался в живописи, литературе, не говоря о театре. Подкупил, высказав однажды догадку:

— По-моему, тебе страсть как хочется пойти в Третьяковку и попросить меня быть твоим гидом.

О Третьяковке я мечтала действительно «страсть как» ещё с долагерных времён. Не задавая неловких вопросов — «Как?.. Впервые в этом храме искусств?.. И этой библейской истории не знаешь?», — Константин погружал меня в сюжеты знаменитых картин, рассказывал о художниках.

Чуть позже Лида доверительно рассказала, что они с Костей встретились в Польше в 1944 году, когда его привезли раненым

с фронта в медсанбат, где она работала медсестрой. Благодарность. Увлечение. Любовь. Но Костя сразу её предупредил: «На меня не рассчитывай. У меня семья. Я семью не брошу». После войны, однако, с женой развёлся, оставил ей и дочери московскую квартиру, и они с Лидой уехали на периферию. Проработав в сибирском театре несколько лет, решили вернуться и обосноваться в Москве. Конкурс в Большой театр был ставкой «на жизнь». От его результатов зависело всё: работа по профессии, московская прописка, получение жилплощади.

Слушая, как Лида разучивает арию Любаши из «Царской невесты» («Вот до чего я дожила, Гри-го-о-рий...»), арию Далилы и другие, как концертмейстер после каждого урока восхищённо ободряет её: «Большому кораблю — большое плаванье», — я не сомневалась в её победе. Ожидание конкурса определяло климат дома. Семья жила в нервном, деятельном напряжении.

За обеденный стол в доме Александры Фёдоровны усаживались, когда все были в сборе. Горячо обсуждались имена членов жюри на предстоящем конкурсе, количество конкурсантов, репертуар Большого театра. Дружно смеялись шуткам Константина. И когда объектом подсмеиваний становилась я, то от неловкости положения в семье сама смеялась, помнится, усерднее прочих. Соседка по квартире отложила мне в пергаментную бумагу порцию крема для лица. Соблазн косметики был велик. Я терпеливо дожидалась, когда Константин и Лида уснут, чтобы за своей ширмой с превеликой осторожностью развернуть громко шуршавший в тишине пергамент. И на завтра, при полном семейном сборе, Константин с бесовским огоньком в глазах обратился ко мне:

— Скажи, дорогуша, а как называются конфеты, которые ты жрёшь по ночам?

От постыдного подозрения у меня, как у шестнадцатилетней, перехватило дыхание, но тридцатидвухлетняя во мне вовремя спохватилась («спасение в юморе») и присоединилась к общему веселью.

Во мне насмерть сражались между собой два безоговорочных чувства: чувство абсолютной правоты совершённого побега и чувство стыда за его непродуманность. Не только возраст, но и вся

выучка жизни оказались в этой ситуации не в счёт. Я была похожа на человека, который в диком запале перепрыгнул через улицу, перемахнул с одной крыши на другую, но не знает, как спуститься вниз. Я незамедлительно должна была определить, в какую точку Союза ехать устраиваться на работу. К этому главному разговору — о выборе профессии и места работы — к нам с Александрой Фёдоровной подключился старший брат Бориса.

— Может, медсестрой? Статистиком? Лаборанткой? — перечисляли они мои прежние занятия.

— Нет. Нет.

— Может, окончить педагогические курсы в каком-нибудь провинциальном городе?

— Работать в школе, с детьми? Не разрешат.

Члены семьи наблюдали за мной. Как человеку, оказавшемуся на реке во время ледохода, мне надо было сноровисто выгребать к берегу. Не хватало проворства. Недоставало обоюдной доверительности. Покинув Север, я не ориентировалась ни в чём.

Сама я прекрасно знала, кем хочу быть. Заветной мечтой был — ТЕАТР.

Лагерь грубо врбал в сознание, что работать там, куда тебя поставили — землекопом, трамвайщиком, укладчиком шпал или грузчиком, — неотвратимость. Мы все подчинялись приказу. Но «щучье веленье» начальства, насильственно направившего меня по наряду в лагерный театр, сверсталось с затаённой потребностью юности: «быть полезной человечеству». Мой первый выход к публике состоялся на щербатых подмостках лагерного клуба. Улавливая при свете керосиновых ламп очертания лиц людей, сражённая замиранием «зала», я пропитывалась жаждой собравшихся эзков услышать мелодию, слово, увидеть спектакль. Желание совместно пережить что-то личное, «вольное» преображало и заключённых, и артистов. Возникавшее между нами и зрителями в зонах созвучия доставляло ни с чем не сравнимую отраду. Ощущение нужности, приток сил, нисходивших на нас «не от мира сего», кружили голову и наполняли душу смыслом. В стремлении служить театру было и наследие Александра Осиповича Гавронского, Коли, атмосферы незабываемого ТЭКа (театрально-

эстрадного коллектива). Театр, надо сказать, вообще виделся мне способом существования. Только ему, театру, было под силу согласовывать и стягивать в узел такие полярные состояния, как кошмар и счастье, безобразие и красота, ненависть и любовь.

Однако здесь, в этой артистической семье, заводить разговор о профессии актрисы мне не разрешали и обстоятельства, и неуверенность в себе. Стены московской комнаты были увешаны афишами с чтецкими программами Александры Фёдоровны, названиями спектаклей, в которых играл Костя, и опер, где пела Лида. Разве не заносчивостью, не дерзостью было бы здесь заикнуться о театре, когда решался вопрос о куске хлеба и крыше над головой?

В завершение разговора о моих реальных «перспективах» Константин вдруг небрежно бросил:

— Жаль, мы тебя на сцене не видели. Кабы в театр, я бы тебя запросто устроил. Давай попробуем?! А что?

В растерянности я смогла только дипломатично возразить: «Ну что ты», стала ссылаться на свой малый сценический опыт. В итоге, однако, всё свелось к театру. Как выяснилось, попытки поступить в какой-нибудь периферийный театр были возможны только через биржу. Само словечко «биржа» в пятидесятые годы при социалистической системе хозяйствования казалось вытасненным из сундука старой лексики. На мой вопрос: «А что это, собственно, значит — биржа?» — Константин отозвался необычайно живо:

— Биржа? А это, знаешь ли, базар. Такой симпатичный, немноголюдный базарчик. Сначала там посмотрят на твою мордаху, на то, как по земле ступаешь, заглянут, как лошадке, в рот, как, мол, там обстоят дела с зубами, перемолвятся с тобой одним-другим словом. Ну а потом так, знаешь ли, расшаркаются и скажут: «Сделайте одолжение, осчастливьте наш город. Приглашаем вас...» Устраивает? — с издёвкой над биржевой процедурой пояснил он.

В этом лучшем из вариантов был один убийственный момент. На биржу, по утверждению Константина, режиссёры и актёры съезжались в Москву в конце августа — начале сентября. Заканчивался же только июль. А я и так оставалась в доме Бориса непо-

зволительно долго. Ни документов, ни зарплаты мне из Микунни не присылали. Сослуживцы молчали. Писал один Борис.

Хоть и не сбылось его предсказание насчёт того, что, встретившись в Москве, мы с его Ма «узнаем и полюбим» друг друга, Борис всё равно строчил счастливые письма. С фотографии, которую он прислал, в упор смотрели пугающие своей преданностью мальчишечьи глаза. Он смелел:

Томка!

Начни же наш дерзкий, красивый счёт!
Стань разведчицей счастья нашего!
Мудрено загадать, где стоит наш дом,
У каких плотин, за каким хребтом.
Может, это палатка геолога,
Дом культуры в садах над Волгою.
Может...
В общем, примчу на уральский завод,
В театр Камчатки иль в степи хакаские,
Хоть пешком, хоть бегом в край любой, где живут
Томка, мамка, стихи и краски!..

Поймав себя на раз-два мелькнувшей мысли: «Выйду, пожалуй, за Бориса замуж; семья умная, жизнь будет интересная», — я внутренне заметалась и отчаялась ещё больше. Всё контролировала потребность быть в согласии с собой. А выручало то, что полтора года, остававшиеся до освобождения Бориса, разрешали этому соображению оставаться чисто теоретическим.

При внешнем дружелюбии в доме Александры Фёдоровны существовало непонятное нелюбопытство к тому, что касалось меня. Никто меня не спрашивал ни о лагерных годах, ни как я жила до них. Ни о том хотя бы, что думаю. Я оставалась в роли некой безродной подопечной. Без биографии, без прошлого. Семья выполняла просьбу Бориса — вот и всё. О нём меня, кстати, тоже не спрашивали.

Ничем своим не делилась и Александра Фёдоровна. Только однажды, перебирая семейные фотографии, она предложила: «Хочешь посмотреть?» На одном из снимков она стояла на коленях, собирая какие-то бумаги. Похоже, тот, кто фотографировал, вне-

запно попросил её глянуть в объектив. Поднятые вверх глаза, взгляд — снизу и враспloh. Казалось, будто она что-то вымаливает у Неба.

— Может, и вымаливала, — бросила она, — только всё равно с пустыми руками осталась. У меня тогда был роман с одним умным и очень близким мне человеком. К сожалению, нам пришлось расстаться. Впрочем, моё призвание — материнство.

— Призвание?

— Да! Призвание! Почему ты переспрашиваешь?

Меня она вскользь как-то спросила:

— У тебя ведь тоже, кажется, есть сын?

— Есть! — встрепенулась я: сейчас случится разговор, который так необходим, чтобы ощущать себя реальным, а не условным человеком. Но следующий вопрос задан не был.

В какой муке я нашупывала брод в абсурде тюрьмы и лагерей! Чтобы как-то вернуться в свободу, расшибалась о то же бездорожье, отыскивая брод и сейчас.

Нестерпимо мучило, что стесняю семью Бориса. Не находила я объяснения и угрюмому молчанию знакомых из Микуни. В самом буквальном смысле этого слова, я нигде не находила себе места.

— Завтра идём с тобой к моей приятельнице, актрисе МХАТа Халютиной. Она мастер высокого класса. Когда-то играла Тильтия в «Синей птице» Метерлинка, — сказала Александра Фёдоровна. — Надо, чтобы ты посмотрела как можно больше спектаклей этого театра.

Один-единственный раз, ещё до войны, я видела спектакль МХАТа «Анна Каренина», когда театр приезжал на гастроли в Ленинград.

Софья Васильевна Халютина жила в Леонтьевском переулке, в доме, где обитали актёры этого прославленного театра. Угостив нас обедом, она сказала, что как раз сегодня идёт на «Синюю птицу», и, если я хочу увидеть спектакль, она меня приглашает. Мы заспешили. И всё-таки вошли в театр, когда уже отзвенел третий звонок. Увидев запыхавшуюся актрису, билетёрша быстрыми шажками подбежала к ней, указала на боковую дверь партера

и заговорщически зашептала: «Сюда, сюда. Я пропущу вас здесь». Но, оскорблённая кощунственной готовностью билетёрши нарушить ради неё священный устав театра — никого после начала спектакля в партер не впускать, — Софья Васильевна возмутилась, гневно отрезала: «Что вы, что вы, как можно?» — и повела меня наверх, в один из ярусов, откуда мы и посмотрели первый акт.

Завораживающее впечатление от спектакля, трепет старой актрисы перед таинством Театра, её верность незыблемым правилам взволновали меня сверх меры. «Значит, мир в своих высоких образцах жив? Уцелел? Неужели?» — бушевало в душе. И прошлые представления о норме готовы были рвануться на свои столь долго пустовавшие места.

Идея найти у кого-то угол, чтобы дожидаться открытия биржи, заставила меня попытаться отыскать через адресный стол родственников северных знакомых. Вопреки иллюзии о сохраняющихся в свободном мире безусловных нормах и ценностях, которая возникла после посещения МХАТа, московские впечатления часто приводили в смятение. Некоторые и вовсе ужасали.

С Вале́й Л. мы вместе работали в ТЭЖе. Получив на руки адрес её матери, я направи́лась к ней, чтобы разузнать о Вале и её дочери. Вали́на девочка, однолетка моего сына, родилась, как и он, в Межоге. Когда вышло распоряжение лагерного начальства — детей старше годика вывезти из зон и разместить по детским домам Коми АССР, — я, под клятвенное обещание Филиппа вернуть мне сына после освобождения, отдала ребёнка ему. Вали́на дочка, занесённая в списки детского этапа, поступила под опеку государства.

Дверь мне неожиданно открыла сама Валя. Поскольку у неё была бытовая статья (не то растрата, не то халатность), запрет жить после освобождения в столице на неё не распространялся. Не догадываясь, какую боль приносят такого рода встречи, мы обрадовались друг другу. Валя рассказала, как на следующий же день после освобождения отправилась разыскивать дочь и как, объехав с десятков разбросанных по республике детских домов, в конце концов нашла её.

«Вопиёт к Небу» — это о её дочке Инне. Девочка была убийственным свидетельством того, как в государственных казённых домах губили жизнь детей. Их там не только не воспитывали, но содержали вообще без присмотра. В речи Валиной девочки присутствовали одни согласные. Она умудрялась сотворять их даже из гласных. И каждый из трёх-четырёх звуков стартовал как первый. Только Валя могла разобраться в том, о чём пыталась в попытке что-то выговорить её дочка. Слепая доверчивость и доброта сменялись приступами ярости. Инна могла внезапно накинуться на мать, на бабушку, а то и на ребёнка, с которым играла во дворе. Ела руками. Могла вдруг завывать — будто в детдоме детей водили в лес обучать волчьим призывам. Оторопь брала от Валиных рассказов.

Беда, настигшая Валиного ребёнка, миновала моё дитя. Но моего мальчика украли. Прятали его. Прятались сами. И сколько мне понадобится времени, чтобы найти сына, я не ведала. Побывав в доме Вали, не посмела, не посмею и сейчас сравнить один вид Зла с другим. *Вид* разный, *род* — один!

Однажды меня пронзила такой силы физическая боль, что, продлившись она ещё мгновение, я бы не вынесла её. Ужалив, она отошла, но оставила пожизненное знание о своей смертоносной мощи. Погружение в прошлое при нашей встречедохнуло на нас с Валею похожей жутью, давая понять, что беда эта растянется во времени, не уймётся, а пойдёт только в рост.

Валя свою девочку от людей не прятала. Верила, что вызволит дочь из тьмы. И что-то ей впоследствии удалось. Девочка, однако, дотянула до тринадцати лет и умерла.

В ещё большую растерянность меня поверг следующий московский визит. В ТЭКе был удивительно приятный актёр, наш с Колюшкой друг — Володя Мурзин. Раньше он к театру отношения не имел. До ареста учился в московской школе разведчиков. Загодя стал просить: «Если, часом, после освобождения окажетесь в Москве, навестите мою мать. Ни на одно моё письмо она не ответила и не отвечает». Сколько надежд возлагалось на тех, кого заключённые назначали послами в свои семьи, поручая рассказать о себе!

Володина мать с порога встретила меня не только насторожённо, но и откровенно враждебно:

— Кто вы? Чего хотите? Что вам надо?

— Я друг вашего сына Володи. Мы с ним вместе работали в лагерном театре. Я давно освободилась, но только сейчас оказалась в Москве. Володя просил, чтобы я зашла к вам и рассказала о нём. У вас очень славный сын...

— Изменник Родины мой сын — вот кто он, — сразила меня с ходу старая крестьянка. — Осрамил меня перед всем миром. Перед соседями осрамил. Перед родственниками. Вон мотоцикл его тут висел в коридоре — попросила вынести в сарай, чтоб глаза мои не мозолил. Не хочу его знать.

Я пыталась сказать, что не всякому клейму стоит верить, что в лагере сидело и сидит много ни в чем не повинных людей.

— А почему это я должна вам верить? Сталину-то я уж всяко верю больше, чем вам. Разве он станет безвинных сажать? — стояла на своём хозяйка дома.

Кто-то, видимо, внушил старой женщине: «Будь осторожна, к тебе специально могут подослать человека, чтобы выведать, как сама про власть думаешь». Она вошла в раж. Продолжала хулить сына и восхвалять вождя. Недобрые, бездарные слёзы лились у неё по щекам...

Не сумев прорваться сквозь поток этой мути, так ничего толком и не рассказав о Володе, я ушла от неё обескураженная, с чувством вины перед своим товарищем, ожидавшим материнской поддержки. Гнёт этой вины снял с души лет через двенадцать уже сам Володя. При встрече посетовал на то, как безнадежно и навсегда заблудилась в дебрях общественной лжи его не шибко грамотная мать, как до смерти оставалась напуганной, осложняя им с женой жизнь.

Однажды на Центральном телеграфе «Москва-9», стоя за письмами до востребования, я услышала громкий возглас, который ни по смыслу, ни по заряду радости относиться ко мне не мог:

— Ба-а! Председатель колхоза!

Старшему надзирателю с колонны Межог, засадившему меня когда-то в карцер за найденный в бараке топор, сейчас было спо-

дручнее окликнуть меня так, а не по фамилии, как на поверке в зоне. Председательницу колхоза я играла в ТЭЖе в пьесе Фёдорова «Пути-дороги».

— Как живёте-можете? — широко улыбаясь, вопрошал недавний страж.

«Что значит эта безудержная радость?» — поразила я. Не стеречь себе подобного, а открыто, да ещё в Москве, признать бывшую заключённую? И быть в свою очередь признанным ею? Значит, всё зависит от того, как социальная жизнь расставляет людей относительно друг друга? Кроме него, кстати, мало кто изъявлял желание разузнать, как и что у меня сейчас, где живу, где и кем работаю. Парадокс!

Из всех московских семей моих знакомых по Северу самой не повреждённой событиями тех лет оказалась семья сестёр Миры Гальперн (по мужу Линкевич). Нас многое связывало с Мирой в лагере. Память особенно дорожит одним эпизодом. Рассказывая о чём-то, Мира спросила:

— Помнишь «Болеро» Равеля?

— Нет.

— Шутишь?

— Не шучу. Просто не знаю.

И она «рассказала» мне «Болеро».

Года через полтора, объезжая с ТЭКом северную часть лагеря, мы, миновав тайгу, заехали в тундру. Рано утром я вышла на крыльцо барака, в котором нас разместили на ночёвку. Ссыпанная в кучи угольная крошка возле порога. Безлесье. Редкий, низкорослый кустарник. Зона, опутанная проволокой. Свинцовое небо... Всё порождало уныние, ощущение бесприютности бытия. Но из чёрного конуса репродуктора, закреплённого на столбе возле зоны, лилась музыка. И я — дрогнула. Прежде чем назвать её ворожкой, всем своим существом я узнала: это «Болеро» Равеля!

Так я и простояла, не шевелясь, на ветру, пока не «досмотрела», как неспешной, ритуальной поступью двигался по пустыне караван великолепных верблюдов, пока не пропиталась красноватым закатом над сыпучими песками. Расслышала, как незаметно внутри музыки стала зарождаться зыбкая, тревожная параллель

главной теме. Цель, к которой направлялся караван, становилась всё более призрачной, где-то раздваивалась. Вовлекая в себя барханы, бескрайность, движения и чувства тех, кто вёл караван, всё это стало перетекать в единый круговорот действительного и вечного... Безудержно лились слёзы. И сколько бы я потом ни слушала «Болеро», оно оставалось — подарком Миры.

После освобождения Мира и её муж Алексей подверглись повторному аресту и получили пожизненную ссылку. В момент, когда я в 1952 году оказалась в Москве, они находились в ссылке в Сибири порознь: она в Новосибирском крае, он в Красноярском.

По рассказам Миры я знала, что её сёстры живут в Москве. По письмам Миры сёстры знали обо мне. Теперь мы познакомились. В пространстве любой из комнат квартиры сестёр можно было затонуть. Старинная мебель, дорогая посуда придавали этой обители добротность и незыблемость. Само знакомство с сёстрами Миры получилось уморительно милым. Муж средней сестры был дантист. На дверях их квартиры красовалась до блеска начищенная медная табличка с его фамилией. Едва мы расположились для беседы, как в комнату вошёл сам врач, только что проводивший посетительницу.

— В чём дело, Рая? Что случилось? — не без возмущения обратился он к жене. — Тебе что, стал изменять такт? Почему ты так нелюбезно обошлась с моей пациенткой?

— Нелюбезно, видите ли... нелюбезно? — передразнила Рая мужа. — А я что, целоваться с ней должна?

На самом деле Раиса Израилевна выглядела смешавшейся и виноватой. Сдаваться, однако, не хотела и сдобрила финал искромётным юмором:

— Нелюбезно! Да она такая молодая, что мне вообще хотелось дать ей по морде!

Юмор и афористичность речи были присущи всей семье. Стоило старшей, Анне, услышать о чём-то неординарном, как она вскидывала вверх руки и восклицала: «Х-ха! Пробило тринадцать!»

— Знаете, у нас в детстве была няня, заодно и кухарка, — посвящала она меня в уютную историю семьи. — К вечеру она уста-

вала до чёртиков. Помолится, бывало, на ночь, идёт к постельке, потирает одну руку о другую, смеётся и шепчет: «В гнёздышко! В гнёздышко своё сейчас заберусь».

Младшая сестра, Мира, говорливая, образованная, напичканная стихами и байками, окончила московский Институт иностранных языков, работала переводчицей. Вышла замуж за немца. Ей было двадцать восемь лет, когда их с мужем арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Муж в заключении погиб. С Алексеем она встретилась уже лет через пять в лагерном театре кукол, организованном Тамарой Цулукидзе. Надо было видеть, как в боязни, что их могут разлучить, они проживали каждый божий день, вцепившись друг в друга. Страх перед насильственной разлукой превратился у обоих в настоящий недуг.

Все десять лет сёстры посылали ей в лагерь посылки. Они любили и жалели младшую сестру.

— Знаешь, — рассказывала мне ещё в зоне Мира, — приехала ко мне сестра Аннушка на свидание и говорит: «Вот взмахну сейчас волшебной палочкой, всё вернётся на свои места, и ты будешь жить, как прежде». Я подумала и ответила: не хочу! Так я хоть что-то познала, а то продолжала бы жить с закрытыми глазами.

— А вы, Алёша? — любопытствуя, спросила я присутствовавшего при этом разговоре Алексея.

— И я так же, — не раздумывая ответил он. — Ну, продвигался бы я на воле дальше по партийной линии и стал бы идиотом. Вот и всё.

Члены этой семьи, где в ходу были приправы из острот и лиризма, однако, горько сокрушались по поводу того, что лагерь изменил Миру до неузнаваемости.

— Ну, сами посудите! — с горечью и обидой рассказывала одна из сестёр. — Мира с Алексеем приехали сразу, как их освободили. Представляете, сколько собралось родственников, друзей? Поужинали. Ещё и расходиться было рано, как Мира вдруг во всеуслышанье обращается к Алексею и спрашивает: «Алёша, ты сходил в туалет? Покакал на ночь? Я устала, иду спать». Можете себе такое представить? Мира! Наша интеллигентная Мира! Ну что это за стиль?

Уязвивший сестёр «прокол» Миры можно и нужно было истолковать иначе. Могла же она, отсидев десять лет, тоже захотеть «дать по морде» беспечному, мало в чём изменившемуся за годы её отсутствия образу существования родственников? Слишком разного разлива и содержания жизнь досталась ей и её родным в одно и то же историческое время.

В доме у сестёр Миры, кстати, как и в доме Александры Фёдоровны, ни меня, ни приехавшую на несколько дней в Москву с Украины Хеллу не расспрашивали о нашем лагерном прошлом. Поначалу я такое целомудренное нелюбопытство отнесла к стародавней заповеди: «В доме повешенного не говорят о верёвке». Однако дело было не только в этом. Верёвка, накинутая одним концом на арестованного члена семьи, а другим — на полезного, привеченного властью родственника, при грамотной манипуляции вынуждала проявлять особую осторожность в общении. Для пятидесятых годов актуальнее расспросов и ответов был — молчок.

Однажды старший брат Миры — крупный физик, трижды лауреат Сталинских премий, совершенно очаровательный человек — спросил у нас с Хеллой:

— Неужели *там* только и было что холод и голод?

— Нет, конечно, — отозвались мы хором, — хватало и острословия, и шуток.

Для убедительности мы рассказали несколько курьёзов, пару анекдотов. Украсили это смехом. И пожалуй, то был единственный случай, когда из общения испарились насторожённость и напряжение. Наш собеседник восхищённо воскликнул:

— Да знаете ли вы, что на вас надо продавать билеты?

Я шепнула своей чешской подруге:

— А что? Кажется, мы легализовались в жанре буффонады. Пора шить колпаки...

Как же недостижимо далеки были наши родные от реального представления о лагерях, деформировавших не только «стиль», но и химический состав души!

Исстрадавшиеся от постоянного «врозь» в зоне, а затем и в ссылке, после освобождения Мира с Алексеем и часа не обхо-

Петкевич Т.

- П29 Жизнь — сапожок непарный : В 2 кн. Кн. 2 : На фоне звёзд и страха / Тамара Петкевич. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 576 с. + вкл. (16 с.).

ISBN 978-5-389-22555-8

Вторая часть воспоминаний Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» вышла под заголовком «На фоне звёзд и страха» и стала продолжением первой книги. Повествование охватывает годы после освобождения из лагеря. Всё, что осталось недоговорено: недописанные судьбы, незаконченные портреты, оборванные нити человеческих отношений, — получили своё завершение. Желанная свобода, которая грезилась в лагерном бараке, вернула право на нормальное существование и стала началом новой жизни, но не избавила ни от страшных призраков прошлого, ни от боли из-за невозможности вернуть то, что навсегда было отнято неволей. Книга увидела свет в 2008 году, спустя пятнадцать лет после публикации первой части, и выдержала ряд переизданий, была переведена на немецкий язык. По мотивам книги в Санкт-Петербурге был поставлен спектакль, Тамара Петкевич стала лауреатом нескольких литературных премий: «Крутая лестница», «Петрополь», премии Гоголя. Прочитав книгу, Татьяна Гердт сказала: «Я человек очень счастливый, мне Господь посылал всё время замечательных людей. Но потрясений человеческих у меня было в жизни два: Твардовский и Тамара Петкевич. Это не лагерная литература. Это литература русская. Это то, что даёт силы жить».

УДК 84-94

ББК 84(2Рос-Рус)6

Литературно-художественное издание

ТАМАРА ВЛАДИСЛАВОВНА ПЕТКЕВИЧ
ЖИЗНЬ — САПОЖОК НЕПАРНЫЙ
Книга вторая
НА ФОНЕ ЗВЁЗД И СТРАХА

Ответственный редактор ОКСАНА САБУРОВА
Художественный редактор ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ
Технический редактор ТАТЬЯНА РАТКЕВИЧ
Подготовка иллюстраций ЕКАТЕРИНЫ МИШИНОЙ, ДМИТРИЯ КАБАКОВА
Компьютерная вёрстка МИХАИЛА ЛЬВОВА
Корректоры ВАЛЕРИЙ КАМЕНДО, ИРИНА КИСЕЛЁВА

Подписано в печать 08.02.2023. Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 36,26 (вкл. вклейку). Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака КоЛибри®
115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-APR-31532-01-R